# Каллы (Убийца)

***’T is the clime of the East; ’t is the land of the Sun –
Can he smile on such deeds as his children have done?
Oh! Wild as the accents of lovers’ farewell
Are the hearts which they bear, and the tales which they tell.
The Bride of Abydos. Byron.[1]

Черкесская повесть

I
«Теперь настал урочный час,
И тайну я тебе открою.
Мои советы – божий глас;
Клянись им следовать душою.
Узнай: ты чудом сохранен
От рук убийц окровавленных,
Чтоб неба оправдать закон
И отомстить за побежденных;
И не тебе принадлежат
Твои часы, твои мгновенья;
Ты на земле орудье мщенья,
Палач, – а жертва Акбулат!
Отец твой, мать твоя и брат,
От рук злодея погибая,
Молили небо об одном:
Чтоб хоть одна рука родная
За них разведалась с врагом!
Старайся быть суров и мрачен,
Забудь о жалости пустой;
На грозный подвиг ты назначен
Законом, клятвой и судьбой.
За все минувшие злодейства
Из обреченного семейства
Ты никого не пощади;
Ударил час их истребленья!
Возьми ж мои благословенья,
Кинжал булатный – и поди!»
Так говорил мулла жестокий,
И кабардинец черноокий
Безмолвно, чистя свой кинжал,
Уроку мщения внимал.
Он молод сердцем и годами,
Но, чуждый страха, он готов
Обычай дедов и отцов
Исполнить свято над врагами;
Он поклялся – своей рукой
Их погубить во тьме ночной.
II
Уж день погас. Угрюмо бродит
Аджи вкруг сакли… и давно
В горах всё тихо и темно;
Луна, как желтое пятно,
Из тучки в тучку переходит,
И ветер свищет и гудёт.
Как призрак, юноша идет
Теперь к заветному порогу;
Кинжал из кожаных ножен
Уж вынимает понемногу…
И вдруг дыханье слышит он!
Аджи недолго рассуждает;
Врагу заснувшему он в грудь
Кинжал без промаха вонзает
И в ней спешит перевернуть.
Кому убийцей быть судьбина
Велит – тот будь им до конца;
Один погиб, но с кровью сына
Смешать он должен кровь отца.
Пред ним старик: власы седые!
Черты открытого лица
Спокойны, и усы большие
Уста закрыли бахромой!
И для молитвы сжаты руки!
Зачем ты взор потупил свой,
Аджи? Ты мщенья слышишь звуки!
Ты слышишь!.. То отец родной!
И с ложа вниз, окровавленный,
Свалился медленно старик,
И стал ужасен бледный лик,
Лобзаньем смерти искаженный;
Взглянул убийца молодой…
И жертвы ищет он другой!
Обшарил стены он, чуть дышит,
Но не встре<чает> ничего –
И только сердца своего
Биенье трепетное слышит.
Ужели все погибли? Нет!
Ведь дочь была у Акбулата!
И ждет ее в семнадцать лет
Судьба отца и участь брата…
И вот луны дрожащий свет
Проникнул в саклю, озаряя
Два трупа на полу сыром
И ложе, где роскошным сном
Спала девица молодая.
III
Мила, как сонный херувим,
Перед убийцею своим
Она, раскинувшись небрежно,
Лежала; только сон мятежный,
Волнуя девственную грудь,
Мешал свободно ей вздохнуть.
Однажды, полные томленья,
Открылись черные глаза,
И, тайный признак упоенья,
Блистала ярко в них слеза;
Но испугавшись мрака ночи,
Мгновенно вновь закрылись очи…
Увы! Их радость и любовь
И слезы не откроют вновь!
И он смотрел. И в думах тонет
Его душа. Проходит час.
Чей это стон? Кто так простонет, –
И не последний в жизни раз?
Кто, услыхав такие звуки,
До гроба может их забыть?
О, как не трудно различить
От крика смерти – голос муки!
IV
Сидит мулла среди ковров,
Добытых в Персии счастливой,
В дыму табачных облаков
Кальян свой курит он лениво;[2]
Вдруг слышен быстрый шум шагов.
В крови, с зловещими очами,
Аджи вбегает молодой;
В одной руке кинжал, в другой…
Зачем он с женскими власами
Пришел? И что тебе, мулла,
Подарок с женского чела?
«О, как верны мои удары! –
Ужасным голосом сказал
Аджи, – смотри! Узнал ли, старый?»
«Ну что же?» – «Вот что!» – и кинжал
В груди бесчувственной торчал…
V
На вышине горы священной,
Вечерним солнцем озаренной,
Как одинокий часовой,
Белеет памятник простой:
Какой-то столбик округленный!
Чалмы подобие на нем;[3]
Шиповник стелется кругом;
Оттуда синие пустыни
И гребни самых дальних гор, –
Свободы вечные твердыни, –
Пришельца открывает взор.
Забывши мир, и им забытый,
Рукою дружеской зарытый,
Под этим камнем спит мулла,
И вместе с ним его дела.
Другого любит без боязни
Его любимая жена,
И не боится тайной казни
От злобной ревности она!..
VI
И в это время слух промчался
(Гласит преданье), что в горах
Безвестный странник показался,
Опасный в мире и боях;
Как дикий зверь, людей чуждался,
И женщин он ласкать не мог!
<………………>
Хранил он вечное молчанье,
Но не затем, чтоб подстрекнуть
Толпы болтливое вниманье;
И он лишь знает, почему
Каллы́ ужасное прозванье
В горах осталося ему.

[1] Вот край Востока; вот страна Солнца –
Может ли оно встречать улыбкой деяния, какие совершали его дети?
О! Неистовы, как возгласы любовников при расставании,
Сердца, ими носимые, повести, ими рассказываемые.
Абидосская невеста. Байрон.
(Англ.).

[2]Кальян (персидск. гальян) – курительный прибор, который часто делали из металла и украшали золотом, серебром, слоновой костью и т. п.

[3]Такие памятники ставились на скалах и возвышенностях над могилами убитых, которые должны были быть отомщены. Изображение чалмы указывало на то, что погребенный – хаджи, т. е. мусульманин, совершивший паломничество в Мекку.

Слово «каллы́» происходит от тюркского «канлы» – «кровавый». «Между убийцею и родственниками убитого с момента убийства до момента примирения за кровь устанавливаются особые отношения, называемые кровными.

Сам убийца весь этот промежуток времени носит название канлы, что значит кровник», – пишет Н. Семенов в книге «Туземцы северо-восточного Кавказа (Рассказы, очерки, исследования, заметки о чеченцах, кумыках и ногайцах и образцы поэзии этих народцев)» (СПб., 1895, с. 280).

В глубоко драматичной по сюжету поэме «Каллы́» ярко выражен протест против устаревших жестоких обычаев, поддерживаемых муллами.***